

Прекрасная Настена

Сергей Шаргунов

Ей восемьдесят пять.

Она говорит оригинально, но словно бы стилизаторски, игриво. Она всему рада.

Южное «хэканье». Проказливый, сварливый говорок. Крохотная, с желтым прокопченным мелким лицом. Похожа на позднюю лесную ягоду земляники, старую, сухую, никем не замеченную, но впитавшую огромное солнце. Носит ветхие одежды, притом пестренькие. Из морщин лукаво и простосердечно щурятся глаза, голубоватые, выцветшие. И даже в этом тонком и стертом цвете глаз, некогда синих, живет сила. Скрытая сила и в тельце ее, сухом и сгорбленном.

Она родилась в деревне в Воронежской области в большой семье. Дядьку с семьей сослали. Работала в колхозе. Застала оккупацию. Рассказывает: летом все вышли из домов, собрались на окраине села и смотрели, как идут фрицы. Одни стояли. Другие к ним шли. Среди зеленого поля. Пришли, и стали жить в их селе. Однажды немец, шагнув во двор, зачем-то потащил ее в сад позади дома. «Снасильничать или как обидеть, кто ж его знает. Я от страха язык проглотила». Их увидела в окно ее мать, выскочила и стала криком его стыдить. Он не знал русского, однако под громким градом мгновенно капитулировал и исчез. Перед тем, как оставить село, немцы собрали всех у школы. И бросили. «Может погубить хотели, да не успели», — Настя смеется махоньким ртом.

Да, я вот сейчас пишу и понимаю яснее: она нарочито говорит блаженно, голосом и языком вплетаясь в простонародную старину. «Пожечь нас, небось, хотели, да огня не сыскалось». Народ стоял, стоял, топтался и мягко гудел под большим небом, а потом влетели свои. Освободители.

Подростая Настя уехала в Москву. Крестьянка, она работала на стройке. Рыла ямы, клала дорожки, таскали тяжести. «Какая я крепкая была, ух! Лось! Мышца была во! И девчонки-бабенки все мы крепкие были! Все мы были работающие. Жили в общезитии, дружили — не тужили. Весело жилось. Смеялись, песни пели». Она не жалуется на пудовую жизнь. Она рассказывает мечтательно и с некоторым вызовом. Да-да, она хвастается.

Настя мало спит и мало ест. «Бери, что попало, и молоти! Я все ем, раз в день — набила брюхо, и — слава Богу». Какое уж брюхо? — думаю в ответ. Какое брюхо у этого летучего тонкого создания?

Настена беспокойная, юркая. Нервный тик изредка передергивает желтое лицо, но для меня это зазорное подмигивание из дальних

времен ее молодости — так утреннее солнце прыгает по стеклам высоток. Множество утр из тех лет впитались в нее и стали ее органикой.

Она не была замужем. Совершенно очевидно: от этого не страдает.

Она всей душой в монастыре — сначала крестьянском, потом рабочем — где служила верой и правдой, и синим взором, и каменной мышцей. Душа ее легкая, как птичка. Имя «Настя», «Настена», «Настенька» идет ей, как маленькой девочке, в которую она снова превратилась на старости лет. На детское имя отзывается без обид. Живо и звучно: «Чевой?»

Я, правда, добавляю: «баба Настя». Летом, когда мой сын на даче, старушка приходит из соседнего дома, и с ним играет. Она помогает с ним, возится, лучшее развлечение для него она, «Настя!», которую он требует бесцеремонно и понукает. «Баба Настя», — поправляю я Ваню, и говорю: «Баба Настя, вы с ним поостроже!». Она выполняет все его приказы, им умиляясь и восхищаясь. Позволяет кутать себя в одеяла, скрываясь под ними целиком, или бить медвежонком по голове. Ваня щиплет ее за щеку, оттягивая кожу. «На горшках!» — кричит он перенятое от нее слово. Она гнется и без того согбенная, и, оседлав старушку, трехлетний ребенок скачет, барабана ее кулачками по шее. На лице у Насти, сосредоточенном и покрасневшем, — удовольствие. «Ты маленького не ругай. А то напугаешь! — учит она. — С ними надо-то по любовному!».

Баба Настя приходит в дом не одна. С Любой.

Кто ей Люба? Дочка. Любе уже восемь.

Если бы не она — баба Настя вряд ли переехала бы из Москвы сюда в дом, доставшийся от покойного брата.

Люба — дочка соседей по Москве. Муж и жена пили, пока не превратились в животных. Девочке было пять, когда ее отец погиб, тело нашли битое и замерзшее. А мать стала выбираться с ней в город — побираться. Скоро она заставляла дочку в одиночку выходить на промысел — петь песни и кланчить подаяние. Мать напивалась, лупила дочь или пропадала сутками, и баба Настя забирала Любу к себе. Отмывала, кормила, играла. Она специально для девочки покупала книжки и сама, читая не очень хорошо, иной раз по складам, учила ее грамоте. Купила куклу и мяч.

Люба пела песню «Вот кто-то с горочки спустился», с которой обычно ходила по электричкам. Или с диким смехом скакала девочка, долбя мячом с размаху, так что он взлетал от пола до потолка, но смех сменялся плачем и воплем: «Не отдавай меня!», если приходила мать.

Можно ли было лишить эту мать родительских прав?

Баба Настя пробовала, зашла к местному участковому, но так ничего и не сдвинулось.

Потом у Любы, ей уже было шесть, завелись вши, и баба Настя, знакомая с народной мудростью, втирала ей в голову клюкву. Настя вывела вшей, хотя и к ней они прицепились. Пришлось и на себя лить клюквенный сок. В то время Любина мать слегла в больницу, а когда вернулась — напилась и поколотила дочь.

На следующее утро старушка решила.



Сергей Александрович Шаргунов родился 12 мая 1980 года. Выпускник МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности журналист-международник. Писатель. Публицист. Автор нескольких книг прозы (выпущенных в издательствах «АСТ», «Вагриус», «Эксмо» и других). Один из его романов переведен на итальянский язык и вышел в Риме. С 2000 года автор литературного журнала «Новый мир» как прозаик и критик. Лауреат независимой премии «Дебют» в номинации «Крупная проза». Лауреат государственной премии Москвы в области литературы и искусства.

Она собрала мешок и вдвоем, старая и малая, потащили его на вокзал, такое знакомое для Любы место. Они сели в электричку, старая, у которой сбивалось дыхание, но тик веселья передергивал лицо и малая, у которой ссадина запеклась на губе.

Баба Настя готовилась к этому переезду загодя — дом в поселке был готов к новым обитателям.

Отдельная история, как мать все-таки лишили родительских прав (потом она пропила квартиру и следы ее теряются), как девочка пошла в сельскую школу, как баба Настя — в возрасте восьмидесяти трех — ее удочерила. Стала матерью на девятом десятке! А? Круто, да? Впрочем, Люба зовет ее не «мама», а «баба», как и я.

Они сдают квартиру в Москве, развели кур. Приходят летом в мой дом напротив. Баба Настя прихватывает обязательный гостинец — пяток яиц в пакетике. Она самозабвенно играет с моим сыном, а Люба спрашивает вежливо и насуплено: «Можно почитать?». Читает недетские книги. Стендаля, Лескова. В классе она читает лучше всех. Баба Настя ее научила: «Ученый человек — далеко пойдет». Иногда за этой ранней девочкиной серьезностью мне мерещится нечто зловещее, непредсказуемое. Вероятно, только мерещится.

Люба много шалила первый год жизни в поселке, даже убежала как-то на полдня в лес и баба Настя с ног сбилась, ее разыскивая. Но то ли жертвенный свет «бабы», то ли здоровый быт, резко отличный от прошлого, что-то смягчило девочку и сделало одновременно строгой. А может быть, она чувствует, что приемная мать не вечна, и поэтому скорее стремится стать большой.

Едва ли современная женщина может повторить бодрый и святой вариант судьбы бабы Насти. И надо ли? Ведь кроме апологии Настены, возможно и другое понимание: в чем-то она еще и жертва эпохи, когда и горечь принимали за мед, а горе за радость.

Но для меня лично важно, что за этой бодрой святостью — явное присутствие духа и доброго делания. Едва ли Люба в распахнутом пространстве жизни будет всегда примерницей. Но интересно, что баба Настя совсем лишена грустных предчувствий и раздумий. Кажется, она фаталист — баба Настя. Она играет свою роль, истово, без запинки, как заведенная.

«Слушай Люба, не моргай! Смотри за сынком евоным, учишь, сама мамкой будешь!».

Исполнив театральную реплику, старушка смеется, семенит, машет ручкой, костистой, но жилистой, и видится взмах той же ее руки, но давным-давно — топором, киркой, молотком. ■